

© 1992 г. ЭО, № 6

C. Geertz Works and Lives: the Anthropologist as Author. Stanford; 1988. VI. 157 p.

Рецензируемая книга принадлежит перу одного из ведущих американских антропологов Клиффорда Гирца и создана на основе курса лекций, прочитанных им в 1983 г. в Стэнфордском университете. Лекции, привлечение внимания не только этнографов, но также литературных критиков и представителей смежных специальностей, оказали заметное воздействие на дальнейшее развитие антропологии США — особенно так называемой интерпретативной антропологии, основателем которой Гирц в сущности и является. Уже в 1984 г. в Школе американских исследований г. Сенте-Фе (штат Нью-Мексико) состоялся междисциплинарный семинар, в котором приняли участие этнографы, историки и лингвисты из разных университетов. Целью семинара, как определил ее один из организаторов антрополог Джордж Маркус, было «внести литературную „сознательность“ в этнографическую практику путем показа различных способов, которыми этнография может писаться и читаться»<sup>1</sup>. Иными словами, семинар был посвящен проблемам эпистемологии в этнографических и социальных исследованиях, и в нем нашли свое развитие идеи, заложенные в Стэнфордских лекциях. Еще через два года вышел в свет обобщающий труд семинара — книга, которую Гирц назвал «интересной коллекцией очень хорошего и очень плохого, познавательного и претенциозного, искренне оригинального и просто поражающего» (с. 131)<sup>2</sup>. До настоящего времени в различных университетских центрах продолжают публиковаться книги и статьи, обсуждающие литературную деятельность этнографов. Интерпретаторство, особенно среди поколения молодых американских антропологов, в самом деле за последние 10 лет приобрело такой размах, что известный британский этнограф Э. Геллиер уже отзывается о нем не иначе, как о «герменевтической интоксикации»<sup>3</sup>. В этом есть доля истины. Действительно, идея полуантропологической — полулитературной критики оказалась заразной и легкой на подхват, но далеко не все авторы в своих работах выдерживают разумные и полезные границы критики. А если говорить по существу, то серьезных работ, добавляющих к лекциям Гирца хоть что-нибудь действительно новое, не так много. Тем большее значение имеет выход его оригинальных лекций отдельной книгой, которую автор адресует не только профессорам, но и начинающим антропологам-студентам в качестве учебного пособия по историографическим дисциплинам.

Основное внимание в своей книге Гирц сконцентрировал на том, как антропологи пишут. Четыре отдельные главы посвящены дискурсам в произведениях классиков этнографии: К. Леви-Строса, Э. Эванс-Причарда, Б. Малиновского и Р. Бенедикта. Хотя до сих пор считается несколько комичным, замечает Гирц, подходить к научным работам, как к романам Флобера или Бальзака, тем не менее вся антропология первой половины XX в. с трудом вписывается в строго научную традицию и скорее может быть отнесена как раз к полулитературному-полунаучному жанру, который состоит наполовину из заметок натуралиста, записок путешественника или мемуаров современника. Даже Б. Малиновский, один из создателей собственно *метода* в этнографии, не является здесь исключением. Кстати сказать, к такому же выводу относительно Малиновского приходит А. А. Никишенков в своей работе «Из истории английской этнографии»: несмотря на то, что в своих статьях Малиновский неоднократно формулировал свои теоретические постулаты, в его полевых монографиях типа «Аргонатов» или «Коралловых садов» присутствие какого-либо четкого исследовательского метода ощущается весьма распыленно<sup>4</sup>. Гораздо более определенно, указывает Гирц, во всех этих монографиях угадывается другой метод — метод подачи литературного материала. То есть в дело вступает писательская практика. А радикальное отличие писателя от естествоиспытателя, по словам известного французского критика Р. Барта, состоит в том, что «для писателя вопрос *почему мир таков?* полностью поглощается вопросом *как о нем писать?*»<sup>5</sup>. Это не значит, что этнограф должен жертвовать истиной во имя красоты стиля — но в определенный момент он может допустить подмену познавательного механизма механизмом риторическим. Скажем, этнограф не знает, почему бытует обычай — но он знает, как описать его так, чтобы у читателя не возникало подобного вопроса. Это наблюдение, на самом деле очень важное и глубокое, поскольку антропологи, кроме того, что описывали жизнь туземцев, все преследовали свои собственные жизненные цели в неустойчивом и меняющемся мире. А особенно в первой половине века, когда фигура антрополога выглядела необычной и героической, допускать какие-то досадные промахи и оставлять пятна на репутации было совсем уж не к месту. По истории, казалось, благоприятствовала этнографам. Еще оставались места, куда не ступала нога европейца, и антрополог получал фактически «монопольное право» на народ, среди которого ему удавалось работать, ибо заранее было известно, что другие ученые предпочтут ехать в неисследованные места и вообще перепроверка материала, собранного за 1,5—2 года работы, достаточно затруднительна. Этой тягой и доступом к «исследованности», говорит Гирц, объясним и оправдан романтический налет, который сохраняется на страницах основателей функционального и структурного анализа в науке. Гирц приводит для сравнения пространственные цитаты и показывает, насколько относительно выглядят у разных авторов сцены прибытия этнографа на место исследования: «В прохладе раннего

утра, перед самым восходом солнца, шпиль «Южного Креста» направился к восточному горизонту, на котором едва виднелись крошечные темно-синие очертания. Медленно они выросли в неровную гористую массу, отнесло поднимающуюся из океана. Затем, когда мы подошли на несколько миль, вокруг ее основания открылось узкое кольцо низкой и ровной земли с богатой растительностью» (Р. Ферс, с. 11). Или: «Я шел в деревню. Была ясная залитая луной ночь. Я не чувствовал себя слишком усталым... Чудесно. В первый раз я увидел эту растительность в лучшем свете. Слишком странно и экзотично. Экзотичность пробивается незаметно — незаметно сквозь вуаль знакомых вещей. Зашел в кустарник» (Малиновский, с. 73). И так далее. Во всех этих сценах, замечает Гирц, антропологи рисуют себя, по меньшей мере, как путешественников, прибывающих на луну, и вполне могут поспорить с Жюлем Верном. Но для нас в данном случае, говорит Гирц, наиболее важно как раз не место, которое эти сцены занимают в монографиях Малиновского и Леви-Строса, а то влияние, которое они оказали на всю дальнейшую антропологию.

Четыре антрополога, разбираемые в книге, — Леви-Строс, Эванс-Причард, Малиновский, Бенедикт — обладали неординарными литературными дарованиями и выработали свои исключительные повествовательные стили, которые, по мысли Гирца, в не меньшей мере (если не в большей), чем элементы каких-то научных концепций, передались их ученикам и последователям. «То, что Эванс-Причард, А. Р. Рэдклифф-Браун, Мейер Фортес, Макс Глакман, Эдмунд Лич, Раймонд Ферс, Одри Ричардс, С. Ф. Надель, Годфри Лингардт, Мэри Дуглас, Эмрис Петерс, Люси Мэйр и Родни Нидхэм разделяют между собой, не считая соперничества, — пишет Гирц, — это стиль. Хотя, естественно, некоторые из них являются большими его мастерами, чем другие» (с. 59). Конечно, Гирц говорит о стиле не в его буквальном смысле, ибо стиливые особенности письма всегда характерны для каждого человека в отдельности. То, что сохраняется внутри «этнографических школ», — это единные текстостроительные приемы или, как называет их Гирц, «нарративные стратегии».

Создателем одной из таких стратегий, и одной из сложнейших в антропологии вообще, предстает Клод Леви-Строс. Частные этнографические находки Леви-Строса, как и всей структуралистской антропологии, полагает Гирц (и, как нам кажется, он совершенно прав), не были чем-то исключительным по отношению к находкам функциональной или эволюционистской школ. Исключительным явилось то, что Леви-Строс изобрел способ научного разговора или дискурсивную манеру, сквозь которую предметы стали видиться в совершенно ином свете. «То, что изменило ум эпохи как ни что другое, — пишет автор, — было чувство возникновения нового языка, на котором все от женских мод... до неврологии... могло быть с пользой обсуждено» (с. 26). Гирц полностью признает структурную теорию как замечательное достижение своего времени, хотя не скрывает своего отрицательного отношения к структурализму как к исследовательской программе и философской доктрине. «Печальные тропики», один из первых этнографических опытов Леви-Строса, может многое рассказать, считает Гирц, о самом антропологе и всех его дальнейших произведениях. Повествование «Печальных тропиков» складывается, как минимум, из пяти взаимопроникающих друг в друга текстов. Это: 1) отчет странствующего путешественника, продолжающий характерную французскую традицию (в частности, африканские путешествия А. Жиде, А. Мальро, П. Лоти); 2) собственно этнография, показывающая иную форму жизни и героя-исследователя; 3) философское эссе на самом серьезном уровне; 4) реформистский трактат с моральными обвинениями Западу; 5) символистский литературный опыт в лучших традициях Пруста, Рембо и Малларме. В результате взаимодействия всех пяти текстов возникает, по Гирцу, «произведение-миф», которое существует в цельности лишь в своей законченной оболочке и мгновенно рассыпается при любом прикосновении к ней. Такое произведение невозможно критиковать с какой-то этнографической точки зрения, поскольку мы всякий раз будем сомневаться в положении, которое захотим опровергнуть. Текст Леви-Строса исключительно многозначен, и исследователь вязнет в нем на полпути к фактам. «Леви-Строс не хочет, чтобы читатель смотрел сквозь его текст — он хочет, чтобы читатель смотрел на текст» (с. 29). Он говорит о ментальности туземцев, лишь пропуская ее сквозь свою собственную ментальность, в которой уже успевают отразиться все животрепещущие вопросы времени. Нарративная стратегия Леви-Строса, заключает Гирц, в высшей мере состоит в этой «мифологизации» собственного повествования посредством сложения воедино многочисленных текстовых структур.

Другую нарративную стратегию, совершенно противоположную, но не менее действенную, представляют работы еще одного авторитетного исследователя — Эдварда Эванс-Причарда. Выдающаяся характеристика подхода Эванс-Причарда к этнографическому изложению и главный источник его убеждающей власти, как считает Гирц, лежат в «его огромной способности строить визуализированные изображения культурных явлений — антропологические транспаранты» (с. 64). Глава, посвященная британскому антропологу, так и называется: «Показ слайдов: африканские транспаранты Эванс-Причарда». Глава широко иллюстрируется цитатами из малонизвестной работы антрополога «Операции на реках Акобо и Джилла, 1940—41», в которой, по мнению Гирца, сконцентрировано все характерное, что разбросано по более чем 350 его произведениям. Гирц называет Эванс-Причарда величайшим мастером повествования и бесспорно первым из всей британской функциональной школы. Стиль Эванс-Причарда всегда ясен, строг; все, что говорится, говорится уверенно, без волнения и с оттенком легкой иронии, замечает Гирц, которая может исходить только от «степенного голоса образованной Англии». Если в текстах Леви-Строса какое-нибудь незнающее размышление уже могло повергнуть читателя в волнение, то здесь как будто ничего не принимается всерьез: ни военные действия, ни вопросы жизни и смерти не выглядят столько беспокоящими или угрожающими, сколько интересными и увлекательными. Стилистические предложения Эванс-Причарда насыщены наречиями типа: «конечно», «несомненно», «безусловно», «уверенно», «безошибочно». Вместе с его собственным кредо, говорит Гирц, гласящим, что исследователю почти невозможно ошибиться в фактах, если он провел около двух лет среди народа, чей язык ему хорошо знаком,

— все это приводит на «этнографической странице» к безапелляционным суждениям и высказываниям, которые характеризуют любую работу британского антрополога. Например: «Бедуин, несомненно, имеет глубоко веру в Бога и в судьбу, которую Он ему уготовил» («Сануси Киренаики»); «Конечно же, нельзя говорить о каких-то специфически религиозных эмоциях у нуэров» («Религия нуэров») и т. д. Однако вопрос здесь не в справедливости таких заявлений, предупреждает Гирц, и не в том, что Эванс-Причард не удастся подкрепить их взвешенным фактическим материалом (как раз удастся!) — вопрос в том, как «бесперывный дождь таких распространяемых деклараций» создаст авторитетнейший отчет о полсовской работе. Сам Эванс-Причард мог и не ошибаться — но, будучи одним из создателей структурно-функциональной этнографии, он был и создателем столь же действительной, сколь и опасной нарративной стратегии, которой вполне могли воспользоваться (и пользовались) менее успешно работавшие или менее проникательные наблюдатели-антропологи.

Вообще в книге Гирца необходимо отметить положительную сторону — а в данной главе особенно — замечательно строгий и четкий уровень критики, который отличает его, возможно, от всех его последователей. Дело в том, что Эванс-Причард стал одним из излюбленных объектов критики среди «интерпретаторов», и по его адресу высказано уже столько многообразных пожеланий, что впору писать об этом отдельную статью. Но искренне поражает порой отсутствие разумной меры в критике и интерпретации, если даже такой внимательный антрополог, как Ренато Розалдо, позволяет себе сказать: «Манера Эванс-Причарда находится на грани комичного, ибо читатель знает, что, несмотря на все его испытания и несчастья, полсовской исследователь жил для того, чтобы рассказать и даже написать сказку»<sup>6</sup>. Не слишком ли суров приговор?

В главе, посвященной Б. Малиновскому, Гирц прежде всего обращает внимание на то, что Малиновский сам был одним из первых, кто остро осознал эпистемологическую проблему в практике этнографии. «Дистанция... огромна, — размышлял он, — между грубым материалом... как он представлен... в калейдоскопе племенной жизни... и окончательными авторитетно представленными результатами» (с. 83). И еще: «...бесспорную научную ценность имеют только такие этнографические источники, в которых мы можем ясно провести линию между результатами непосредственного наблюдения, утверждениями информантов, а также интерпретациями, с одной стороны, и предположениями автора, с другой» (с. 81—82). К сожалению, говорит Гирц, и здесь Малиновский остался верен себе — радикально очертив проблему в ее теоретической форме, он обошел ее стороной в своей практической деятельности, навсегда сохранив в собственных работах губительную дилемму литератора: *как описать мир?* Однако, продолжает Гирц, для последователей Малиновского идеальным стилевым примером стали даже не монографии антрополога, а его «Дневник», вышедший отдельной книгой после его смерти. Сам Малиновский вел дневник без очевидного намерения его опубликовать, — но, будучи опубликованной, впечатляющая картина сложной внутренней жизни этнографа сразу же стала объектом для подражания. Постепенно эти подражания превратились в серьезный текстостроительный прием: помещение личных чувств в центр этнографического описания и придание отчету достоверности посредством показа, так сказать, достоверности своей персоны. «Ведь чтобы стать убедительным „Я-Свидетелем“, — метко замечает Гирц, — нужно, как кажется, сначала стать убедительным „Я“» (с. 79). Этот литературный прием на самом деле часто практикуется в современной этнографической науке, особенно в феминистской антропологии, когда в нить повествования включаются элементы мелодрамы или личных переживаний. Это, как нам кажется, даже не нарративная стратегия в полном смысле слова. Это, скорее, психологически действующий механизм, связанный с литературными и эпистолярными традициями каждой культуры. Но тем более актуально должны звучать для нас призывы К. Гирца, Дж. Маркуса и других передовых антропологов к литературной сознательности в этнографической практике.

Последняя нарративная стратегия, разбираемая в книге и связанная с именем Рут Бенедикт, по мнению Гирца, настолько своеобразна, что исключает заранее возможность какого-либо достойного подражания — хотя бы по причине неповторимости литературного таланта исследовательницы. Сразу же бросается в глаза, говорит Гирц, что ее антропологические опыты вырастают на основе острейшей социальной критики, для которой отвлеченная этнографическая реальность служит лишь предлогом. В произведениях Бенедикт, как в романах Свифта, предстают перевернутые миры. И как из «Путешествий Гулливера» мы получаем туманное представление о лилипутах, поскольку видим в них самих себя, — так и из этнографических работ Бенедикт мы можем мало почерпнуть об истинном характере зуньи или японцев, поскольку и в тех и в других изображен язвительный портрет американской нации. Девиз Свифта «скорее досадить миру, чем позабавить его», пишет Гирц, находит самое прямое воплощение под пером исследовательницы. Конечно, добавляет автор, было бы совершенно нелепым обвинять ее в каком-либо обмане или умысле — в действительности все ее иронические суждения искренни и честны, такова была жизнь и такова была история. И все же, замечает Гирц, показательно и поучительно, что достижения Бенедикт вырастают не из полевой работы, которой она занималась мало и индифферентно, и не из теоретических выкладок, к которым она также не проявляла особой склонности. Ее достижения вырастают из могущественного описательного стиля, который появился у ученицы Боаса очень рано и потому обеспечил ей экстраординарно быстрое вхождение в этнографическую дисциплину и ее тогдашний институтский центр — Колумбийский университет («Колумбийские командные высоты», как иронически называет его Гирц). Основные работы Бенедикт: «Модели культуры» и «Хризантема и меч», последователи уже за этим, лишь подтвердили репутацию исследовательницы в более широком масштабе. В этих бестселлерах своего времени литературная форма приобрела такую отточенность, удивляется Гирц, что «даже для тех, кто был наиболее раздражен ею, оказалось в той или иной степени невозможным забыть ее» (с. 111). Что ж, талант Рут Бенедикт достоин такого внимания и заслужил свое признание, — но необходимо извлечь соответствующие уроки, чтобы в наших собственных исследованиях видеть вещи

на своих местах и быть особенно осторожным, когда авторитет этнографа покоится на авторитете художника.

В чем важность понимания нарративных стилей? — размышляет в заключении книги Гирц. Прежде всего в том, что наше время требует повышенной честности ученого, и мы должны, наконец, открыть глаза на долго бытовавшее профессиональное заблуждение, что существует некий нейтральный уровень научного языка, которым якобы говорит «истина фактов», оставляя где-то в стороне автора с его прихотями и эмоциями. На самом деле, независимо от стилистического показа или не-показа повествователя, автор всегда присутствует в тексте с его естественной потенциальной целью — *убедить*. Но если мы можем вскрыть авторские убеждающие механизмы и проанализировать их, то дела обстоят не так уж плохо. «Раз мы начали смотреть на этнографические тексты так же, как и через них, раз мы видим, что их нужно создавать и создавать, чтобы убеждать, — пишет Гирц, — у тех, кто создает их, будет уже несколько больше дел, за которые они отвечают» (с. 138). Знание нарративных стилей, добавляет Гирц, оказывается весьма полезным, когда нам приходится преодолевать наши частные предубеждения «авторитетности». Авторитеты обладают известной властью. И если нам случится поехать к азаме и не обнаружить у них той социальной структуры, которую обнаружил Эванс-Причард, мы скорее усомнимся в своих способностях, чем в его. Но для всех этнографов и во все времена, говорит Гирц, существовало и существует «столкновение» с листом бумаги. И нередко именно оно (как, например, для Грегори Бейтсона) становится более затруднительным, чем собственно контакт с изучаемой культурой. Потому не удивительно, что многие антропологи стараются доказать подлинность этого контакта либо детальными описаниями природы, либо пространными философскими рассуждениями, мало относящимися к существу дела.

Проблема описания существовала всегда — просто во времена Боаса ей не придавалось какого-то социально значимого статуса. Основные трудности связывались с полевой работой, но никак не с дискурсивной практикой. Хотя ради справедливости нам надо отметить, что уже в 1930-х годах А. Кребер упрекал Маргарет Мид за ее плавные импрессионистские «пассажи», составленные из разрозненных «улик», «украденных» у чужой культуры. Но, безусловно, время было другим. Еще до вчерашнего дня, говорит Гирц, этнографические сочинения могли покоиться на том, что объект антропологии и ее аудитория морально разобщены и разделены надежной непроверяемой стеной. Сегодня все изменилось — и в мире Малиновского, и в мире заиде и бороро. Объект антропологии сам стал ее аудиторией. И соответствующие изменения должны найти свое выражение на страницах антропологических работ, которые до сих пор стараются изобразить этнографическую реальность в идеалах давно ушедших времен. Сознательности каждого ученого, говорит Гирц, это касается в той самой мере, что пора отказаться от подмены познавательных действий нарративными уловками (не насущно ли это для отечественной науки, где, не в обиду будет сказано, нередко на трехстах страницах текста нельзя вычитать ничего, кроме вязи бесконечных предложений, лишенных содержания!). А отмеченный кризис в культурных описаниях и эпистемологическая «лихорадка» предстают для нас пока неизбежными. Это чисто современное явление, вызванное развитием мира, где становится все труднее и труднее освободиться от чужих путей и идти только по собственному. «Это то, — заключает Гирц, — как обстоят дела для нас сегодня. Это то, как они не обстояли для сэра Эдварда Эванс-Причарда».

А. Л. Елфимов

#### Примечания

<sup>1</sup> Marcus G. Afterword: Ethnographic Writing and Anthropological Careers // *Writing Culture*. Berkeley, 1986. P. 262.

<sup>2</sup> *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography* / Eds. G. Marcus, J. Clifford. Berkeley, 1986.

<sup>3</sup> Gellner E. The Stakes in Anthropology // *American Scholar*. 1988. V. 57. № 1.

<sup>4</sup> Никушенков А. А. Из истории английской этнографии: Критика функционализма. М., 1986.

<sup>5</sup> Барт Р. Писатели и пишущие // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 135.

<sup>6</sup> Rosaldo R. From the Door of His Tent // *Writing Culture*. P. 90.

© 1992 г., ЭО, № 6

А. Ю. Рудницкий. Другая жизнь и берег дальний... Русские в австралийской истории. М., 1991. 192 с.

Первые сведения о таинственном «южном материке» проникли в Россию в конце XVII — начале XVIII в., но корабль под андреевским флагом впервые посетил Австралию в 1807 г., вскоре после начала эпохи русских кругосветных плаваний. Регулярные заходы российских судов в Порт-Джексон (Сидней), Мельбурн и другие города пятого континента способствовали развитию дружественных отношений между русскими моряками и британскими поселенцами, а участники этих плаваний